

ЮРИЙ ПАХОМОВ

МОЧЁНЫЕ ЯБЛОКИ

Из воспоминаний писателя и врача

1. Вольные ветра Балтики

Летом 1989 года, когда всё уже было шатко, площади гудели от митингов и явственно слышался треск осыпающейся огромной страны, Юрию Александровичу Виноградову удалось организовать поход писательской бригады на сторожевом корабле “Бдительный” из Кронштадта в Балтийск с заходом в Таллин и Ригу.

Виноградов – фигура в московском писательском мире своеобразная. В прошлом – главный редактор журнала “Советский воин”, в восьмидесятые годы он занимал должность председателя военной комиссии при Союзе писателей СССР. Юрий Александрович обладал несомненным организационным даром, неукротимой энергией и пробивной силой. За хитроватые глаза, розовые щёчки и торопливый бабий говорок ему кто-то прилепил прозвище Баба Маня, и это стало как бы его прижизненной отметиной.

Виноградов многим делал добро, но его почему-то недолюбливали.

Бригада, состоявшая из московских и ленинградских писателей и писателей прибалтийских республик, собралась на борту крейсера “Аврора”. Было нас человек двенадцать – народ в основном пожилой, пишущий на военные темы. День выдался солнечный, голубая Нева, золотой шпиль Петропавловской крепости, особняки и дворцы вдоль набережных, ещё подёрнутые сизой утренней дымкой. После завтрака в старинной кают-компани и посещения Военно-морского музея мы на автобусе отправились в Кронштадт. Пригороды Ленинграда дышали зноем, среди зелени – деревянные дачи, звонкие берёзовые рощи со сквозными просеками, сосны и снова дачи. Колёса автобуса отстучали по плотине, соединяющей Кронштадт с материком. О плотине несколько лет велись ожесточенные споры – экологи, биологи, архитекторы! – их перекрыл погребальный скрип перестройки.

На сторожевом корабле “Бдительный” нас разместили в двухместных каютах. Я оказался вместе с известным писателем-маринистом Александром Николаевичем Плотниковым. Знали мы друг друга давно, частенько перезванивались. Крепко скороенный сероглазый кержак из далёкой сибирской деревни, как большинство сильных людей, был добродушен, обладал спокойным и ровным характером – лучшего соседа по каюте не придумаешь.

Плотников – капитан первого ранга, бывший командир подводной лодки и настоящий, в отличие от меня, маринист, по праву занял нижнюю койку, мне досталась верхняя. Я был счастлив. Окажись Саша надо мной, моей жизни угрожала бы серьёзная опасность: Плотников весил более центнера, и кобельная койка могла не выдержать...

Мы взяли с собой по три бутылки водки, выпивали по сто граммов перед обедом и ещё вечером, если позволяла обстановка. И тут расскажу об одном удивительном феномене: стоило мне (я был назначен старшим по каюте ви-ночерпием) открыть бутылку, как дверь в каюту распахивалась, и входил поэт Марк Кабаков со своим стаканом, я, естественно, наливал и ему.

Плотников, щурясь, глядел на Кабакова и спрашивал:

— Марк, у тебя, что ли, прибор какой есть? Как ты узнаешь, что мы собираемся выпить?

— Во-первых — дедукция, а уж во-вторых — прибор.

— И что за прибор?

— Акустический... Электронная схема, то-сё... Очень чувствительный.

— Тогда гони рупь.

Кабаков долго рылся в кармане, доставал рубль и укладывал его на стол.

Я как-то возмутился:

— Саша, что ты у него рубли дёргаешь? Он же гость.

— Э-э, ты Марка не знаешь. А я служил с ним в Феодосии, он на полигоне, я на лодке. Вместе начинали в литературном объединении. Когда поэты собирались в чепке, устраивая складчину, у Марка всегда оказывался только рубль. Один рубль — и всё. Это стало вроде анекдота.

Не меньше удивлял меня и писатель Вячеслав Марченко. Вечерами он заходил в нашу каюту и спрашивал:

— Ребята, почему бы вам не выпить?

— Тебе-то от этого какой прок? — всякий раз поражался Плотников. — Ты же не пьёшь.

Марченко и в самом деле лет двадцать назад “завязал”: не курил, не пил.

— Понимаешь, Саня, я хоть и не пью, но очень люблю посидеть в компании. И сам вроде хмелею, — как-то пояснил Марченко.

— Не понимаю, — Плотников развел руками. — Доктор, как это называется? — обратился он ко мне.

— Нечто вроде рукоблудия. Для жизни не опасно. В определённом смысле веселит душу.

— Ладно, коли так.

Таллин встретил нас враждебно. И это была уже не скрытая неприязнь, холодная вежливость в магазинах и брошенное в спину колкое слово “курат”, знакомое мне ещё со времен первой морской практики на учебном корабле “Комсомолец”. Сейчас в глазах эстонцев, особенно молодых, стояла откровенная ненависть к “окупантам”, которую подогревали местные, националистически настроенные политики при молчаливом потворстве центральной власти.

В Таллине мы выступили перед моряками соединения надводных кораблей, затем группой бродили по вечерним улицам старого города. Бывая в командировках в столице республики, я обычно останавливался в гостинице “Выру” с великолепным рестораном, баром. Со мной здоровался портье и как-то даже предложил даму на вечер.

Посидеть в ресторане гостиницы “Выру” писателям на этот раз не удалось. И портье, и метрдотель, знавшие меня, встретили отчужденными улыбками: “Оч-чэнь сожалеем, мест-т нет-т. Много иностранцев”, — холодно доложил метрдотель.

Таковыми же словами встретили нас в двух или трёх кафе, писатели стали накаляться. И тут бывший фронтвик из Вильнюса вспомнил: “Друзья, а ведь сегодня день рождения Юхана Смуула. Я много занимался его творчеством. А ну, за мной!”

У кафе “Европа”, где обычно по вечерам собирались эстонские националисты, клубилась толпа. Маринисты и баталисты клином врезались в неё, и седовласый литературовед из Вильнюса сказал застывшему у входа в кафе мордовороту: “Молодой человек, знаете ли вы, что сегодня юбилей известного эстонского писателя Юхана Смуула? — Тот густо покраснел и промычал что-то невразумительное, видимо, в первый раз услышав это имя. — Так вот, мы, писатели, хотели бы отметить в вашем кафе это важное событие. Надеюсь, вы уважаете эстонских писателей?”

Нам тотчас отвели уютный столик, быстро его накрыли. Когда водка была разлита по рюмкам, фронтвик встал и сказал: “Господа, прошу стоя выпить за замечательного писателя Юхана Смуула, светлую память о нём!”

И весь зал встал и молча выпил.

Рига запомнилась проливным дождём, толкотней туристов на улицах и в магазинах. И ещё – запахом речной воды, замешанном на густом смоге. Город уже тогда выглядел чужим, настороженно притихшим. Внешне – фальшивые вежливые улыбки, фальшивые вежливые, обкатанные, словно прибрежная галька, слова. “Взять бы сейчас и долбануть по ним ракетой, – хмуро сказал вахтенный офицер, разглядывая в бинокль тающий в сумерках город. – Мы для них – оккупанты. Ничего хорошего не помнят. Сколько наших солдат и матросов здесь полегло в войну, сколько денег в эти занюханые республики вбухали! И всё им плохо... А моей деревни под Вологодой нет, пустые избы стоят”.

И вот Балтийск... Туман над тёмной водой, грациозные лебеди, возникающие из тумана, военные корабли на рейде и у стенки, на берегу – знаменитый ресторан “Золотой якорь”, кирпичные дома бывшей немецкой военно-морской базы Пилау, точно прибором захлестнутые пышной зеленью. И в Балтийске, и в Калининграде я бывал много раз.

Нас принял командующий Балтийским флотом адмирал Егоров (будущий губернатор области) – улычивый, спокойный человек. Вячеслав Марченко дружил с командующим, да и мне приходилось с ним встречаться. Оглядев писателей, сидящих за столом, командующий спросил:

– Братцы, а может, вам рыбалку организовать? И не простую, а на угря. Здесь островок неподалёку есть. Я вам катер свой дам, инструктора, снасти. Помощник материальное обеспечение организует. Как?..

Писателям идея понравилась.

Вышли рано утром. День обещал быть жарким. Белый катер вспарывал голубую волну – такого цвета Балтийское море бывает нечасто. “Материальное обеспечение” приятно булькало в коробках, а снастей для ловли угря было столько, что вполне можно было бы обеспечить областную писательскую организацию где-нибудь на севере России.

Через полчаса зелёный островок букетом вынырнул из морских глубин. Инструктор, плотный смуглолицый капитан второго ранга, нервно потирал руки. В его глазах стоял блеск, который встречается только у одержимых рыбаков. Это от них пошло: “Если служба мешает рыбалке, бросай службу”.

Катер мягко подошёл к причалу, рыкнул дизелем и осел. Матросы выгружали банки (табуреты), коробки, ящики, кисы – морские брезентовые чемоданы с хлебом и консервами. Инструктор налаживал удочки на угря, подвешивал к заброшенным донкам колокольчики. Из одной коробки так зазывно пахло копчёным угрём, что у меня сразу отпала охота ловить это скользкое змееподобное чудовище. Да и зачем? Вот он, уже готовый, копчённый на ароматном дымке. Я попросил у инструктора обычную удочку с поплавком, банку с червями, уселся на краю причала и стал с удовольствием дергать небольших плотвичек, которых сразу, осторожно сняв с крючка, отпускал в родную стихию. Стало припекать солнце. Бурые водоросли мотались между камней у причала, раскачиваемые лёгким накатом. Я пригляделся и обмер: в небольшой лагуне среди крошева плавника на дне лежал гигантский угорь. Видно, его повредило винтом катера, и он только что уснул. Я огляделся: писатели с мрачным видом сидели на банках рядом с удочками. Колокольчик так ни разу и не зазвенел. Я решил пошутить. Стараясь не привлекать внимания, спустился с причала, подцепил уснувшего угря на крючок своей удочки, отвёл рыбищу на приглубое место и как ни в чем не бывало уселся на нагретом солнцем причале. Выждав паузу, дёрнул удочку и заполюшно заорал:

– Мужики, у меня что-то зацепило, не могу вытащить! На помощь! – Удилище согнулось в дугу. Я бестолково прыгал на причале, изображая борьбу с могучей рыбой.

– Хватай за леску, твою мать! – закричал инструктор – Не дай ему сорваться!

Писатели слетели с банок и крупной рысью кинулись ко мне. Впереди всех бежал Саша Плотников в бейсболке с надписью “Босс” и в трусах в горошек. Поскользнувшись, он плашмя рухнул на гальку. Его обошёл инструктор, он двигался короткими скачками, как молодой кенгуру. К этому времени я уже выволок угря на причал и для убедительности помахивал его хвостом. Но разве обманешь настоящего рыбака? Инструктор горестно посмотрел на меня и сказал:

– Эх ты, чудака на букву “м”. Разве так шутят? У меня даже сердце прихватило.

К причалу с трёх сторон надвигались писатели. Выражения их лиц ничего хорошего мне не сулило. Марченко поднял руку:

– Стоп! Только не самосуд. Давайте создадим тройку из самых авторитетных писателей, и пусть они решат, что делать с Пахомовым.

– Выпороть его надо, – предложил Плотников, потирая ссадину на колене, – я весь ливер себе отшиб.

– Телесные наказания отменили в России ещё при Александре Освободителе, – заметил писатель-историк. – И потом, это было бы слишком просто. Нужно учесть опыт средневековой инквизиции.

– Испанские сапоги? – брови у Марка Кабакова встали почти вертикально.

– Нет, ещё тоньше и изощренней. Пахомов рыбалку сорвал, да и ни хрена не клюёт. Стол накрыт, всё готово. Мы садимся за стол, начинаем выпивать и, естественно, закусывать, а Пахомова посадим рядом на камень, пусть лицезреет нашу трапезу, а заодно и прочувствует всю глубину вины перед товарищами. Пытка трезвостью! Что может быть страшнее для пишущего человека?

– Гениально! – подытожил Слава Марченко.

Плотников засомневался:

– Слишком уж жестоко. Лучше выпороть. Да ладно, ежели общество решило... Супротив общества не попрёшь.

Сорок минут я просидел на плоском камне, вдыхая ароматный запах шашлыка, с горечью наблюдая, как быстро убывают напитки. Наконец, меня простили и допустили к опустошённому столу. Братья-писатели изрядно захмелели. Самым пьяным был Слава Марченко, хотя не выпил ни рюмки спиртного. Светило солнце, в кустах трещали птицы, а с запада напозла сизая, с отвисшим брюхом туча. Саша Плотников ммуро глянул на тучу и сказал:

– И здесь нас перестройка достала...

2. История с гинекологией

Анатомию я преодолел без труда – меня не смутили ни оглушающий запах препараторской, ни вид расчленённых трупов. По-видимому, я с детства предчувствовал, что выберу себе специальность, далёкую от разведения орхидей и роз. Со вторым страшным для медиков предметом – фармакологией – тоже обошлось всё благополучно. Пригодились отличная зрительная память и умение писать шпаргалки. Сбой произошёл с гинекологией. Уже с первых занятий я понял, что у меня что-то обрушилось внутри, сместилось представление о самом прекрасном создании на земле – женщине. Кафедра акушерства и гинекологии словно специально старалась лишить нас юношеского романтизма. Наглядные пособия, муляжи, в различных проекциях изображавшие детородные органы, говорили только об одном предназначении женщины – воспроизводстве рода человеческого. Всякое упоминание о любви (если речь не шла о любви к детям!) считалось чем-то непристойным. А на фоне невероятного количества женских болезней, описанных в учебнике величиной со средних размеров надгробную плиту, мгновенно истаял, исчез в зыбком петербургском воздухе образ блоковской Прекрасной Незнакомки. Хорошо ещё, что в те незапамятные времена по телевизору не рекламировали различные прокладки и тампоны, позволяющие очаровательным созданиям танцевать круглые сутки, в том числе и в критические дни.

Пока осваивали теорию, с этим ещё можно было как-то мириться, но когда пошли практические занятия в поликлинике, меня настиг новый удар. Ко всему прочему выяснилось, что юные и не очень юные представительницы лучшей половины человечества лишены чувства стыдливости.

Нашу группу вёл доцент, подполковник медслужбы, назовём его условно Вениамин Аристархович. Почему Аристархович, да ещё Вениамин? Было в нём нечто аристократическое, старопетербургское, оттуда, из ушедшего Серебряного века, когда доктора в обязательном порядке носили пенсне со шнурком, стоячие накрахмаленные воротнички и пёстренькие либеральные жилеты, перекрещенные цепочкой карманных часов. Понятное дело, Вениамин Аристархович выглядел несколько иначе, но очки без оправы, барственные манеры, крупные, удивительной красоты ухоженные руки и безукоризненно белые рубашки сближали его с нашими блестящими предками. К тому же говорил он, слегка картавя, и от него всегда исходил аромат хорошего

одеколона и табака “Золотое руно”. Как я позже выяснил, именно этот запах вызывает у женщин смутное томление и ожидание чего-то несбыточного. Стоит ли говорить, что у кабинета, где вёл приём Вениамин Аристархович, постоянно копилась очередь. Причём женщин ничуть не смущало обстоятельство, что на приёме будет присутствовать полувзвод молодых парней, рассаженных полукругом у сверкающего никелем гинекологического кресла.

Взгромоздившись на это орудие пыток, почтенного вида матроны отвечали на вопросы Вениамина Аристарховича столь охотно и с такими интимными подробностями, что мне порой хотелось провалиться сквозь землю. Кончилось тем, что когда наша группа после перерыва удалялась в кабинет, я прятался за здоровенный фикус, стоявший в деревянной кадке в холле поликлиники. Когда же слушатели вываливались в холл перекурить, я, словно тать в ночи, выскальзывал из укрытия и присоединялся к коллегам.

Вениамин Аристархович обожал остроумные анекдоты и наиболее удачные заносил в изящную записную книжечку. Я в те далёкие времена знал столько анекдотов, что их невозможно было бы разместить на дискете емкостью в 1,44 мегабайта. Я запоминал их сериями, блоками, тематически. Этому, по-видимому, способствовала пустота, царившая в моей юной голове.

“Английская серия”, рассказанная мной в перерыве, настолько потрясла Вениамина Аристарховича, что едва не сорвался очередной приём больных. Он предложил мне задержаться после занятий, и его смех в холле ещё долго смущал персонал поликлиники.

Такой односторонний обмен знаниями продолжался неделю. Как-то Вениамин Аристархович удивлённо спросил, почему не видит меня на занятиях. Мне ничего не оставалось делать, как чистосердечно рассказать о своих душевных терзаниях и клятвенно заверить, что никогда не стану гинекологом. Вениамин Аристархович, поразмыслив, сказал: “Ладно, зачёт я тебе поставлю, но при одном условии: если примешь хотя бы одни роды. Флотскому врачу это может понадобиться”.

Через месяц я держал в руках толстощёкого мальчугана, который о своём появлении заявил таким воплем, что спугнул ворон с соседней крыши. Случилось это, помнится, в родильном доме неподалёку от Невской лавры. Этому пацану сейчас уже пятьдесят с лишком. Солидный мужик.

Но история с гинекологией этим не закончилась.

Во время зимней экзаменационной сессии слушателям старших курсов академии продавали дешёвые путёвки в пустующие дома отдыха. Очень удобно: живёшь в Зеленогорске или под Выборгом, тишина, белки по деревьям скачут, тебя кормят, создают все условия для занятий, а сдавать экзамены едешь на электричке. В такой дом отдыха я и отправился. От того времени в памяти остались деревянные коттеджи, по самые окна засыпанные снегом, синие сумерки, скрип финских саней, захватывающее дух скольжение с горы, сухое тепло печки, которую по утрам растапливала старуха-санитарка. Сквозь дрёму я слышал, как смерзшиеся поленья со звоном ложатся в печь, и вот уже тянет ароматным берёзовым дымком.

Моим соседом по комнате оказался Юра Сенкевич. Он тогда ещё не был великим путешественником, ни ведущим популярной телевизионной программы, ни телеакадемиком, а, как и я, был лишь слушателем Военно-медицинской академии, только не морского, а сухопутного факультета.

Сенкевич сдавал экзамены на день раньше, чем я.

Тем замечательным вечером он приехал из Ленинграда довольный – сдал гинекологию на “отлично”. Поставив на стол бутылку водки, Юра с улыбкой соблазнительно заметил: “Я понимаю, тебе нельзя, а я уж расслаблюсь. Хотя, должен тебе сказать, алкоголь в определённых концентрациях стимулирует умственную деятельность”. Передо мной угрюмым кирпичом лежал недочитанный учебник по гинекологии, в саду орали, устраиваясь на ночлег, вороны. В голове зависла плотная полоса тумана. В его белесой мути увязли, потеряв смысл, все эти жуткие гинекологические термины, а в глянцевиной черни оконного стекла отражалось такое, что впору было перекреститься.

“А может, водка и правда стимулирует”, – с надеждой подумал я. После первого стопаря я убедился, что коллега, безусловно, прав. Когда мы допили бутылку, в голове настолько прояснилось, что я готов был сдавать экзамен хоть сейчас, причём по любому предмету.

Ухала, остывая, печка, где-то в отдалении лаяли собаки – ни обычной музыки, ни смеха за окном.

– Почему так тихо? – спросил я.

– После ужина ребята пошли на танцы в соседний дом отдыха. Там сегодня оркестр играет, – пояснил Сенкевич. – Слушай, а может, и мы махнём? Мне эта мысль понравилась.

В Сенкевиче уже тогда присутствовала некоторая доля авантюризма – кому же ещё, скажите, придёт в голову идея отправиться через океан на сплётённом из мочалок плоту? – потому он предложил:

– Давай переоденемся? Мне надоели солдатские шмотки.

Я представил, какой радостный переполох вызовет наше появление на танцах в столь необычном виде, и согласился. Юра не без труда натянул мою морскую форму – он крупнее и чуть выше ростом, – я облачился в просторный армейский мундир, сунул ноги в кирзовые сапоги и тотчас стал похож на дезертира, бежавшего с гарнизонной гауптвахты. До дома отдыха, где устраивали танцы, нужно было идти километра два, сначала просекой, затем – по тропинке вдоль железнодорожного полотна. Ах, какая это была сказочная ночь! Две, а то и три луны раскачивались среди звёзд, молодые берёзки стайкой девочек-шестиклассниц выбегали навстречу нам, в глубине леса весело щёлкал клюкой леший, хохотал филин, а мы в две молодые глотки распевали курсантскую песню, слова которой я не рискну здесь привести. В клуб ввалились, запорошённые снегом, и сразу же налетели на патруль. Положение осложнилось тем, что старший патруля, капитан, слушатель нашей академии, знал меня и Юру в лицо.

– Хороши, – хмуро сказал он, оглядывая нас. – То, что вы пьяные, ладно, бывает, а вот трюк с переодеванием может вам дорого обойтись, друзья. Это уже ЧП! Короче, если вы тотчас же исчезнете из клуба, я вас не сдам. Вопросы?

Какие уж тут вопросы? Мы повернулись и уныло поплелись назад. Дорога на этот раз показалась вдвое длиннее. Началась сильная метель. Луна исчезла. Тропинку стало замечать. До своего коттеджа мы добрались часа через два, от холода не попадая зуб на зуб. Хорошо ещё, что у Юры была припрятана “маленькая”. В результате я не только не дочитал учебник, но и поехал сдавать экзамен с тяжелой от похмелья головой. Расчёт был сомнительный: явиться последним, когда экзаменаторы выдохнутся и станут милосерднее.

Кафедра гинекологии размещалась тогда на пятом этаже в новом корпусе на территории академического городка у Витебского вокзала. Внизу, в гардеробе, я встретил Вениамина Аристарховича, он меня узнал, стал спрашивать о моих делах. Пришлось ему сознаться, что иду сдавать экзамен и “не в зуб ногой”, что делать – не знаю, сплошной завал. “Да брось ты, не преувеличивай. Главное – не дрейф! – отмахнулся жизнерадостный доцент. – Расскажи лучше новый анекдот”.

Лифт не работал, и мы потащились вверх по узкой неудобной лестнице. Я уже не помню, какой анекдот я рассказал, но Вениамин Аристархович прямо-таки зашёлся от смеха. Снизу послышался сердитый голос гардеробщицы: “Эй, вы, малохольные, чего галошами кидаетесь!” Выяснилось, что доцент во время смеха дрыгнул ногой, галоша сорвалась и упала в лестничный пролёт. Пришлось вернуться. У входа на кафедру Вениамин Аристархович глянул на часы и, подмигнув мне, сказал, чтобы я заходил в кабинет, где принимают экзамены, через пять минут, но только в том случае, если дверь будет приоткрыта. Я выждал время и поступил так, как он мне посоветовал. То, что я увидел, напоминало чудо: доцент сидел за столом экзаменаторов один, больше в кабинете никого не было. Он царственным жестом указал на приставной столик, на котором лежали экзаменационные билеты, и сказал: “Выбирай! Только скорее, сейчас профессор придёт”. Я успел просмотреть несколько билетов, когда скрипнула дверь, и вошёл знаменитый гинеколог – профессор Бутомо. “А этот что так припозднился?” – спросил он, сумрачно глянув на меня. “За городом живёт, – пояснил Вениамин Аристархович. – Электрички плохо ходят”. “А-а, знакомое дело. Давай, дорогулечка, побыстрее, а то обедать пора. Да отложи ты билет, что в нём проку. Так поговорим”.

Дальнейшее напоминало страшный сон, который чаще всего случается, если переешь за ужином. Гинекология мстила за нелюбовь к ней, как может мстить только брошенная женщина. От страха я вспомнил то, что в принципе знать не мог, даже лекции слушал невнимательно, по-видимому, что-то там откладывалось в черепушке на подсознательном уровне. Если я сбивался, не знал ответа, Вениамин Аристархович писал красным карандашом ответ на бу-

маге и показывал мне его из-за профессорской головы. Я плохо разбирал почерк и вынужден был всякий раз приближаться к столу. Бутомо удивлённо трогал свой редкий ежик, недоумевая, что я там, на его голове, мог разглядеть, кроме просвечивающей младенчески-розовой лысины.

Наконец порка закончилась.

– Что же ему поставить? – задумчиво спросил профессор.

– Пять, – уверенно сказал Вениамин Аристархович и добавил: – За выносливость. Ведь вы его по всему курсу прогнали.

– На пятерку, Вень, и мы с тобой гинекологию не знаем. – Бутомо вздохнул, глянул на меня и спросил: – Гинекологом собираешься стать?

– Нет! – ответил я с таким жаром, что профессор удивлённо приподнял брови... Подумал и поставил “четыре”.

3. Мочёные яблоки

Ах, какое славное было утро, когда мы с курским писателем Владимиром Павловичем Детковым шли на рынок за цветами. Синь небесная прорезана была серебристым свечением редких облаков, и свет этот затекал в переулочки, где не слышно было шума машин, и жёлтые листья, сорвавшись с ветвей, долго кружили в воздухе, тихо оседая на землю.

На рынке пахло свежей рыбой, зеленью, осенними яблоками, и продавали хризантемы дивной, неземной красоты. Потом на автобусе мы покатали на кладбище, где упокоился выдающийся писатель земли русской Евгений Иванович Носов. Там-то, на кладбище, испытал я ощущение сопричастности к некому чуду и с этим ощущением прожил долгий и светлый день.

Вслед за Детковым шёл я по чисто выметенной дорожке, слева – вызолоченные солнцем надгробья, кресты, цветники, клумбы, а между деревьев зависли столбы дымного света – видно, где-то жгли опавшие листья, и вдруг взгляд мой споткнулся о надпись на плите: “Константин Дмитриевич Воробьёв”. Я остановился в недоумении. Неужто он? Даты рождения и смерти совпали. Но ведь автор повести “Убиты под Москвой” похоронен в чужой неприветливой прибалтийской земле. Помнится, я ещё горевал, что судьба даже после смерти не снизошла к замечательному писателю. Владимир Павлович, уловив моё смятение, пояснил: “Константин Дмитриевич наш, курский. Вот его и перезахоронили при содействии губернатора. Рядом они теперь лежат, два воина-шлемоносца: Воробьёв и Носов”. И верно, могилы были по соседству. С миром приняла их курская земля, во все времена рождавшая замечательных художников, писателей, воинов и хлебопашцев. И всех их отмечала необыкновенная стойкость и крепость духа.

За минувшие двадцать окаянных лет немало именитых сочинителей сверзилось с пьедесталов, одни зачахли от скудности жизни, другие ушли в отказ, третьи дрогнули, приняв за сомнительные блага враждебную сторону. Даже такой, казалось бы, крепкий писатель-солдат, как Виктор Петрович Астафьев, и тот сорвал голос, дал, как говорят музыканты, киксу. Воины – победители в великой войне сплошь у него оказались “проклятыми и убитыми”. Вроде и не было ни битвы под Москвой и Курском, ни чадной Прохоровки, и не известно, кто взял Берлин. Разве что проклятые? Или убитые?.. Подвели писателя нравственные ориентиры, возобладали гордыня, а тут ещё недруги посулили нобелевские лавры. Как тут устоишь? А вот Евгений Иванович Носов устоял, ни разу не сбился с пути. Устоял и Константин Дмитриевич Воробьёв, о горькой судьбе которого в своём “Зрячем посохе” с такой пронзительной грустью писал тот, прежний, всеми любимый Астафьев.

Отправляясь в Курск на открытие памятника Носову, я вечером перечитал журнал “Толока”, посвящённый восьмидесятилетию со дня рождения писателя. Там в своей статье известный критик Владимир Бондаренко приводит слова Евгения Ивановича, обращённые к близкому своему другу Астафьеву: “Вот Виктор Астафьев, он же в своем последнем романе “Прокляты и убиты” немножко обидел оставшихся в живых участников Великой Отечественной войны. Эти люди ведь сейчас живут из последних сил. Фронтовики наши, чуть живые, носят все свои медали, потому что горды своим участием в Победе. Потому ведь в их жизни ничего стоящего не было. Он вернулся с фронта, опять опустился до уровня пастуха ли, трудяги простого, сторожа магазинно-

го. Он вернулся в деревню Ванькой и этим Ванькой остаётся всю жизнь. В деревне некуда двигаться... Не потому, что страна виновата в забитости деревенской. Стране негде было тогда взять, чтобы накормить и одеть всех фронтовиков... Тяжёлая была жизнь. И вот этих людей Виктор Астафьев своим романом ещё раз обездолил – война единственное, что поднимало их до какой-то высоты...

Не довелось мне быть близко знакомым с Евгением Ивановичем Носовым. Встречались как-то на съезде писателей, постояли, поговорили. Меня всё подмывало расспросить его о родословной. Ведь и мои, носовские корни, возможно, тянутся с Курщины. Прапрадед мой в начале девятнадцатого столетия переехал в поволжский Юрьевец из одной южной губернии. Какой – неведомо. Не из одного ли мы российского рода на свет объявились? Не решил спросить, постеснялся. Выходило, будто напрашиваюсь в родственники к известному писателю. А зря. Евгений Иванович был человеком чутким, не осудил бы меня за докучливость. И всё же сходство фамилий (я ведь Носов, Пахомов – мой псевдоним) давало порой о себе знать. Давно, ещё в советские времена, как-то позвонили мне из конторы, ведающей заграничными публикациями, и предложили получить гонорар в немецких марках. “Белый гусь” – ваш рассказ?” – спросила литературная дама. “Нет, отродясь не писал о гусях”. “Ах, оставьте, – возмущилась дама, – все писатели обязательно пишут о собаках и гусях!” Потребовались немалые усилия, чтобы убедить её, что рассказ принадлежит перу Евгения Ивановича Носова.

Положили мы с Детковым цветы к подножью надгробий двух русских писателей, постояли, склонив голову. А небо, будто скорбя вместе с нами, потемнело, но ненадолго, словно тень скользнула, но вот уже упругий солнечный свет пробил сумерки, высветив аллею с могилами воинов, павших в Афгане и Чечне, а чуть дальше устремился ввысь мемориал морякам-курянам, погибшим на подводной лодке “Курск”.

Вспомнил я, как на похоронах Юрия Павловича Казакова, когда опускали в могилу гроб, сорвался вдруг откуда-то вихрь, взметнувший вверх, к серому ноябрьскому небу, опавшую листву. И там, в вышине, будто кто-то приоткрыл заслонку, вспыхнул и погас солнечный луч. Удивительно ли это? Нет! Ведь мы и природа – единое целое.

Памятник Мастеру русского слова мне понравился. Изваян он был любящими руками и потому был тёпел и тоже, как осеннее небо, светился. Евгений Иванович сидел, погружённый в думы: грубый свитер, штормовка, на ногах – кеды, будто собрался он на рыбалку. И поставлен памятник хорошо: рядом с домом писателя, в небольшом сквере, где некогда стояла скамейка, на которой любил сживать Евгений Иванович во время прогулки. Этот момент и запечатлел скульптор Владимир Иванович Бартедьев. Так и казалось: отдохнёт писатель и отправится по дороге вниз, к родной деревне Толмачёво, посидеть среди ракатника с удочкой на берегу речки Свяж.

Открывали памятник не казенно, с душой. И губернатор, и мэр в своих речах нашли живые, неизбитые слова. Да слова и не нужно было искать – сами они складывались из осеннего воздуха, и любая фальшь сразу бы обнаружилась, проступила, словно пятно на подмокнувшей скатерти во время хмельного застолья. Артисты читали отрывки из рассказов Носова, капелла под руководством Евгения Легостаева (её и в Европе слушали!) исполняла любимые произведения писателя, а вокруг, занимая проём улицы, отхватив и проезжую часть, стояли люди. И много было молодых, отмеченных мыслью лиц. Событие собрало жителей Курска – Евгений Иванович Носов был их земляк, родной, понятный, а значит – истинно народный писатель. Редко кто удостоивается такой чести. А я глядел на бронзовую птаху, присевшую на бронзовый куст рядом с Мастером, и вспомнил о просьбе Евгения Ивановича, выбитой на его надгробье: “Покормите птиц”.

Так просто и так значимо: люди, покормите птиц и вы станете добрее друг к другу, сохраните хоть частицу любви, что год от года тает в России, как рыхлый снежный ком на мартовском солнце.

Стоял я и думал с горечью: кому только не ставят сейчас в Москве памятников, а для того, чтобы пробить установку скромной доски на фасаде арбатского дома, где жил другой выдающийся русский писатель Юрий Павлович Казаков, потребовалось десять лет. Да что говорить, Венечке Ерофееву, прокатившемуся разок пьяненьким из “Москвы в Петушки”, уже не то два, не то три памятника от-

грохали. А Чехову хоть и поставили в Камергерском переулке памятник, да как раз там, где помещался общественный сортир – прибежище пьяниц и извращенцев. Случайность?.. А свистопляска вокруг увековечивания памяти Булгакова и вовсе напоминает шабаш, в котором участвуют персонажи, рождённые фантазией автора “Мастера и Маргариты”. Пустое всё это, порождение миазмов, витающих в отравленном ложью и пустословием воздухе столицы. В Курске воздух иной. Степные ветры сдувают прочь гнильцу, запах тлена и разложения, что вместе с дымом горящих лесов стелется каждое лето над Россией.

Вечером, по приглашению вдовы писателя, собрались мы за столом в доме Евгения Ивановича. Уже легли сумерки, оконные стёкла обрели аспидный цвет, а потом и вовсе померкли, но в гостиной было уютно и светло, свет дробился на стекле рюмок, а в центре стола среди закусок стояло блюдо с мочёными яблоками. Давно я не ел мочёных яблок, а уж таких и подавно не пробовал! Золотисто-янтарные, с заманчивым сладковато-бражным запахом, они как бы вобрали в себя цвета ранней осени и теперь сами излучали свет. Всё соединилось в одной точке: сегодняшнее утро, кладбище, клейкие серебристые паутинки среди прореженной листвы, слитые воедино мужские и женские голоса капеллы и скромный кабинет Евгения Ивановича, где со дня кончины писателя ничто не тронато – всё стоит на своих местах. Казалось, что вот-вот войдёт хозяин и торопливо направится к рабочему столу, боясь упустить только что возникшую мысль.

Я сидел рядом с сыном писателя Евгением Евгеньевичем, инженером-ракетчиком, человеком тихим, застенчивым. Во главе стола – вдова писателя, доброжелательно-светлая хранительница семейного очага. Глядел я на неё и думал: дай ей Бог долгих лет жизни, и пусть обойдёт лихо стороной эту русскую семью. В таких семьях и хранятся ростки будущего возрождения России.

Тем же вечером уезжал я в Москву. Соседками по купе оказались две студентки, по виду – сестрички, улыбочивые девушки с острыми беличьими глазками. Я устал, перегружен был впечатлениями, соседки деликатно вышли в коридор, дав мне возможность устроиться и прилечь. Уже засыпая, я услышал, как одна из студенток тихо спросила: “Чем это так удивительно пахнет?” И я вспомнил, что в моей сумке среди курских даров поместился и пакет с мочёными яблоками. Они-то и издавали запах...

4. Поэтом можешь ты не быть...

В юности многие пишут стихи. Я не писал. Моё появление в литературе, как я полагаю, случайность или вмешательство неких сил. Когда в 1982 году в издательстве “Молодая гвардия” готовилась к печати моя новая книга, заведующая отделом Зоя Николаевна Яхонтова потребовала, чтобы я обнародовал своё писательское кредо. Я и сейчас с трудом представляю, что такое “писательское кредо”. Какое, например, кредо у Антона Павловича Чехова? Но в те времена, как говорили ехидные редактора, нашу литературу так “засерили”, что не продохнуть. Меня угораздило попасть в серию, где непременно требовалось кредо. Хоть тресни!

Зоя Николаевна, пожалев меня, посоветовала: “Да напишите просто, как вы, человек вполне приличный, докатились до такой жизни”. Промучившись неделю, я договорился до того, что стал утверждать, что в самой природе сочинительства впору заподозрить таинственный вирус, циркулирующий среди молодежи. Что-то вроде вируса болезни куру, поражающей в основном аборигенов из племени форы на Новой Гвинее. Но форы – каннибалы, а каннибализм среди писательской братии, насколько я знаю, распространён не очень. Дальше – в том же роде. Книга вышла, коллеги стали на меня поглядывать с подозрением, но стихов я не писал.

И всё же в редакции ленинградского журнала “Звезда” два месяца меня числили поэтом. Эта забавная история разрешилась 8 марта 1979 года.

... День стоял чудный, отовсюду капало, тенькали синицы, в лужах отражались белые кудрявые облака, похожие на новорожденных ягнят. В баре гостиницы “Советская” (я там остановился) раздобыл две бутылки шампанского и с трудом закинул их в кейс. Доехал на троллейбусе до Владимирской площади и там, на рынке, купил ветку мимозы, точнее, маленькое деревце. Такси добыть не удалось – праздник, сесть в троллейбус с деревцем в одной ру-

ке и разбухшим кейсом в другой – глупость. Вот и пришлось тащиться через весь Литейный проспект до Моховой. Зрелище, надо думать, было забавное: встречные прохожие, особенно женщины, улыбались. И в самом деле: солидный полковник в каракулевой шапке с лакированным козырьком (“шапке с ручкой”) прёт на себе унизанное золотыми шариками соцветий дерево, а на приветствие младших по званию в связи с занятостью рук отвечает кивком головы.

О традиции “звездинцев” отмечать день 8 марта в редакции я знал, знал и как сдвинуть старинный кованый засов, которым запиралась входная дверь, когда завершался приём посетителей. С задачей взломщика я справился легко, осторожно разделся в гардеробе и, неслышно ступая, подошёл к двери, ведущей в “Зелёную гостиную”, где обычно заседало литературное объединение молодых писателей и где однажды я выставил на обозрение свои графические работы, выполненные под влиянием Фрейда и Чюрлёниса. Александр Семёнович Смолян, обзорев сии творения, глухо, в бороду, посоветовал: “Юра, ограничь-те выставку нашей гостиной, а то вами заинтересуются коллеги-психиатры”.

Гул голосов временами перекрывал странный звук – казалось, что кто-то играет на арфе. При моём появлении возникла секундная тишина. Взору моему предстала довольно необычная картина: во главе праздничного стола, рядом с главным редактором журнала Георгием Константиновичем Холоповым важно восседал домбрист – седой, вислоусый, в украинской расшитой рубахе. По обе стороны от них расположились Жур, Смолян, дальше редактора, члены литературного объединения – Корнелия Матвеевко, Михаил Панин, Алла Драбкина, Вячеслав Усов, Вячеслав Кузнецов, кто-то ещё. Паузу нарушил Холопов:

– Пахомов явился. К тому же с деревом. Где ты его вывернул?

– В Летнем саду, естественно. Едва скрылся от погони.

– Садись, уголовник.

С деревом вышло замешательство. Никто не знал, куда его поставить. Наконец, уборщица, чертыхаясь, принесла ведро для мойки полов. Заведующий отделом поэзии Вячеслав Кузнецов, для друзей – Вячик, подхватил меня под руку и усадил рядом с собой. Корнелия достала из буфета стакан, тарелку и вилку.

– Давай, дёрнем водочки, Юра. Тебе нас догонять нужно. – Кузнецов как-то странно улыбнулся.

– Я бы шампанского... У меня в кейсе две бутылки.

– Оставь шампанское женщинам. – Слава налил мне полный стакан. – Поехали, предстоит деликатный разговор.

В гостинице я выпил только чашку кофе, и водка подействовала на меня, как ударный наркоз-рауш. Я даже слегка поплыл. Корнелия положила мне в тарелку салат и сердито покосилась на Кузнецова:

– Что ты пристал к человеку, дай ему закусить.

– погоди. Нея. Пахомова нужно брать тёпленьким. – И вкрадчиво сказал: – Юра, ты наш постоянный автор, хороший прозаик. Скажи, на кой черт тебя понесло в поэзию? И к тому же сразу громыхнул поэмой о танкистах. Ты же моряк. Зачем отбивать хлеб у фронтовика Сергея Орлова?

У меня на затылке зашевелились волосы. Розыгрыш, мистификация?

– Какой поэмой? – с трудом спросил я. – Что за вздор? Я в жизни не писал стихов.

– Перестань! Уж Холопов-то тебя знает. Так и сказал – Пахомов. С прозаиками и не такое случается. Я ничего плохого о поэме сказать не могу, вполне профессиональная работа. Мы собираемся дать её ко дню Победы, нужно только снять кое-какие вопросы.

– Послушай, если это розыгрыш, то неудачный. Повторяю: я никогда не писал стихов.

– Ну-ну! И фамилия твоя, точнее – псевдоним, и адрес московский совпадает. Давай на минуту поднимемся в мой кабинет, я тебе покажу рукопись.

Мы вскарабкались по лестнице, Слава извлёк из ящика письменного стола папку, развязал тесёмки, достал рукопись и бросил её на стол, подняв облачко пыли.

– Гляди, Пахомов Юрий Николаевич, Москва, проспект Вернадского...

– Стоп! Я действительно живу рядом с проспектом Вернадского, но на улице Новаторов. А о танках я знаю только присказку: “Главное в танке – не бздеть!” Ты удовлетворён?

Наступила пора удивляться Кузнецову.

– В самом деле? Как ты меня обрадовал. Поэмка, честно говоря, так себе, вторичная. Хотя дать можно.

– Ты злодей и провокатор “невиннейших девушек, чистых, как мак”. Кажется, так звучит у Саши Чёрного?

Мы скатились вниз, Слава ворвался в “Зелёную гостиную” и публично возвестил:

– Это не он! Полная и прижизненная реабилитация!

Холопов строго посмотрел на меня:

– Правда?

– Правда.

– Я бы предложил тост за тебя, но ты, к счастью, не женщина. Друзья, наполним бокалы!

В зеленоватом воздухе над столом ещё кружились обломки моей поэтической славы. Смолян разгладил патриаршую бороду и глухо, как в бочку, пророкотал:

– Юра, как сказал классик: “Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан”. Причём сознательным. В твоём кейсе, по данным разведки, припрятаны две бутылки шампанского. Нечего таить его от коллег, а то женщины устроят тебе “тёмную”.

... Вячеслав Кузнецов умер в сентябре 2004 года. Провожали его в просторном зале крематория на Пискаревском кладбище. Бабье лето было в разгаре, серебристые паутинки летали в воздухе, и всё говорило о жизни. На Пискаревское я поехал с другом – поэтом Игорем Кравченко. Кроме Игоря, поэт Бориса Орлова и руководителя писательской организации Ивана Сабилу, я не встретил ни одного знакомого. Произошла стремительная смена писательских поколений. Мне стало грустно, и я вспомнил тот далёкий мартовский день, капель, деревце мимозы и знакомые лица за столом в “Зелёной гостиной”. Многих из них уже нет. А стихи я так и не стал писать.

5. Русское небо над кладбищем Сен-Женевьев-де-Буа

Для Парижа и его предместий наиболее характерный цвет – серебристый. В воздухе даже в дождь висит серебристая дымка, такое же ощущение рождают дома, сложенные из местного известняка: иногда серебро с оловянным отливом, нередко – с чернью. Чернь – от кованных перил узеньких балкончиков с горшками красной бельгийской герани, придающих Парижу и близлежащим городкам особое очарование.

Но сейчас над кладбищем в Сен-Женевьев-де-Буа зависло ярко-синее небо, где-то возлились, потрескивая, птицы, над голубым куполом кладбищенской церкви Успения Богородицы лежало белое непорочное облачко. Я стоял у могилы Ивана Алексеевича Бунина и вспоминал такой же осенний день...

В больничном парке листья уже облетели, и лишь на голых ветвях боярышника рдели ягоды. Тянуло дымком – жгли листья. Из вивария доносился приглушённый лай собак. По Загородному проспекту катили автомобили, звенели трамваи. Вторая рота курсантов Военно-морской медицинской академии направлялась на лекцию в шестую аудиторию, размещённую под куполом бывшей Обуховской больницы. Грохоча яловыми ботинками, мы поднялись по знаменитой лестнице, в пролёт которой много лет назад бросился безумный и гениальный Всеволод Гаршин; в сумеречном полусвете в нишах проступали лики великих ученых. Лекция предстояла скучнейшая – по политэкономии, и поэтому я запасся книгой – сборником рассказов Бунина.

После привычных команд “Встать!”, “Сесть!” я достал из чемоданчика томик и, прикрывшись от острого старшинского глаза локтем, заглянул в оглавление. Первым мне попался на глаза рассказ “Антоновские яблоки”. Я стал читать и сразу замер, споткнувшись о строки: “Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад, помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и – запах антоновских яблок, запах мёда и осенней свежести...”. Дальше читать не смог – строчки расплылись от слёз. Был я в ту пору первокурсником, трудно привыкал к военной службе и скучал по дому. А тут в сумрачном полусвете аудитории вдруг возник осенний сад на окраине Краснодара, уже пустой и прозрачный, с клейкой серебристой паутиной на малинике, я даже ощутил запах осенних яблок – не антоновки, скорее, симиренки, – ароматный, рождающий в душе смутную надежду.

Сколько ни перечитывал я рассказы Ивана Алексеевича, всякий раз поражался его способности, удивительному чародейству оживлять ушедшее так, что возвращаются не только люди, детали быта, особенности русской речи, но и краски, запахи.

На днях я снова вернулся к “Антоновским яблокам”, и опять поплыло перед глазами, как тогда, в юности. Сквозь туман проступили строки великого мастера: “Старики и старухи жили в Выселках очень подолгу – верный признак богатой деревни, – и были все высокие, большие и белые как лунь...”. А по телевизору только что показывали обезлюдевшую деревню в Тверской области с одичавшими от палёной водки мужиками, которым вряд ли суждено дожить до сорока. Россия, двадцать первый век... Как тут не опечалиться?

На кладбище Сен-Женевьев-де-Буа захоронено более десяти тысяч русских. Тут и военные, и государственные мужи, и деятели культуры, выброшенные во Францию волнами эмиграции. В разных местах кладбища упокоились писатели Иван Бунин, Борис Зайцев, Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус, Гайто Газданов, Алексей Ремезов, Иван Шмелев, Тэффи, философ Николай Бердяев, балерина Матильда Кшесинская, экономист Пётр Струве, князь Феликс Юсупов и многие другие. Есть и более поздние захоронения: писатели Виктор Некрасов, Владимир Максимов, кинорежиссёр Андрей Тарковский, танцовщик Рудольф Нуреев.

Памятник на могиле писателя Бориса Константиновича Зайцева скромн, ничем не выделяется среди других православных крестов. Знать и видеть Бориса Константиновича я, понятно, не мог, а вот голос его, записанный Юрием Павловичем Казаковым на магнитофонную пленку в Париже в шестидесятые годы, слышал.

На даче Казакова в Абрамцево было одно место, разительно не похожее на все остальные, – кабинет. Юрий Павлович приглашал туда редко, и меня всякий раз поражало: такой порядок, такая чистота царили в нём, что на ум приходило сравнение с девичьей спальней, хотя никогда я эту спальню не видел. Кабинет был просторный, светлый. У окна стоял массивный письменный стол, две стены в застеклённых, фабричной работы полках с книгами, третья же, у входной двери, свободна. На ней висели посмертная гипсовая маска Пушкина и небольшая картина, по манере напоминающая Сезанна. Солидный кабинет солидного писателя. Но как-то уж очень холодно, рационально и совсем не в натуре Казакова. И я ничуть не удивился, узнав, что Казаков работает вовсе не здесь, а в крохотной, как чулан, боковой комнатушке, в которой царил невообразимый ералаш. Книги лежали на полу, на продавленном диване, подоконнике, стены увешаны ружьями, патронташами и прочей охотничьей справой. И пахло здесь остро: ружейным маслом, едким табачным дымом, зверем.

Работал Казаков за обычным канцелярским одностумбовым столом и все свои музыкальные, наполненные запахами и шорохами рассказы отстукивал на старенькой, купленной ещё в студенческие годы пишущей машинке “Москва”. Как-то признался: “Я в этой светелке наверху намерзнуть, надумаюсь – и сюда, в “берлогу”. Замысел у меня обычно там рождается. Поверишь, пока бегу вниз, боюсь всё из головы вытрясти”.

Там-то, в этой светёлке, я и услышал исторический разговор Бориса Константиновича Зайцева с Казаковым. Старенький магнитофон шипел, шелестел, пока, наконец, издавек послышался усталый, старческий голос: “Тогда-то я и познакомился с Ванечкой Буниным”... Возникла пауза. Юрий Павлович выключил магнитофон и взволнованно, чуть заикаясь, спросил у меня:

– Слышал?

Я кивнул.

– Заметил, после фразы что-то булькнуло? Это я, с-старичок, пил виски и подавился кусочком льда, когда Зайцев сказал: “В-ванечка Бунин”. Только вдумайся.

Один из наиболее ярких и оригинальных памятников на кладбище – надгробие всемирно известному танцовщику Рудольфу Нурееву: гроб, покрытый персидским ковром, искусно выполненным из мрамора и мозаики, где преобладают красный и золотой цвета. И опять прихотливая память сместила меня на пятьдесят с лишним лет назад...

В пятьдесят восьмом году Олег Виноградов пригласил меня на выпускной концерт хореографического училища: “Приходи, будет много интересного. Увидишь Нуреева. Это восходящая звезда. Я танцую в “Щелкунчике”, поболеешь”.

Выпускные концерты хореографического училища всегда вызывали повышенный интерес, и попасть на них было непросто. После окончания концерта я ждал Олега, как мы и договорились, у служебного входа. Виноградов вышел с темноглазым худощавым пареньком. Я с трудом узнал Рудольфа Нуреева. Каких-нибудь сорок минут назад Рудольф — он, помнится, танцевал сценку из балета “Спартак”, — превосходно сложенный молодой бог в коротком плаще, летал по сцене — одухотворённый сгусток энергии, немыслимое совершенство. Восторженные аплодисменты свидетельствовали, что это увидел не только я, неофит. В поношенном студенческом пиджаке, узковатых брюках Нуриев заметно проигрывал.

Мог ли я тогда предположить, что Виноградов станет балетмейстером с мировым именем, а о Нурееве столько написано, что мне не хотелось бы повторяться в своих скромных записках.

Могилу Рудольфа Нуреева наиболее посещаемая. К Бунину ходят реже. И в этом есть печальная закономерность. На Ваганьковском туристы водят к могиле актера Андрея Миронова, и мало кто знает, что неподалеку похоронен известный русский писатель Юрий Павлович Казаков. Памятник Миронову — довольно странное, языческое сооружение из гранита, напоминающее речной створный знак. Если встать к нему лицом, то в глубине створа можно увидеть деревянный православный крест на могиле Казакова. У меня это всегда вызывает грустные ассоциации.

На кладбище в Сен-Женевьев-де-Буа упокоился и мятежный писатель Владимир Максимов, уже при жизни густо обросший легендами, слухами и домыслами недоброжелателей. А недоброжелателей у него было предостаточно. Тут и сплетни о его запоях, и вынужденная эмиграция, и ссора с писателем Георгием Владимовым, и прочее.

Давно уже, году в шестьдесят седьмом — шестьдесят восьмом прошлого, естественно, века, краснодарский писатель Юрий Абдашев рассказал мне, как в кубанскую писательскую организацию пришло письмо от Максимова, которое начиналось с бранных слов в адрес коллег-литераторов, бросивших его в беде. Писал якобы Владимир Емельянович из сумасшедшего дома, куда его уперли за то, что он съездил по физиономии хозяину Кубани — первому секретарю крайкома.

В своём автобиографическом романе “Прощание из ниоткуда” Максимов, насколько я помню, этот случай опустил, зато подобных эпизодов в романе предостаточно.

С Владимиром Максимовым я знаком не был, видел только раз в редакции журнала “Октябрь”, куда в самом начале семидесятых годов меня привёл писатель Валентин Петрович Ерашов, чтобы познакомить с заведующим отделом прозы. В редакционном предбаннике на стуле сидел человек с всклокоченными волосами, его глаза остро скользнули по нам и потухли. Был он какой-то мятый, несвежий, но в его позе, манере сидеть чувствовалась подчёркнутая независимость.

“Кто это?” — шёпотом спросил я у Ерашова. Валентин Петрович тоже шёпотом ответил: “Максимов”. Имя Владимира Емельяновича было тогда среди литераторов на слуху. Его рассказы “Стань за черту”, “Баллада о Савве” меня потрясли. Он был не похож ни на кого из современных писателей. Поговаривали о каком-то большом романе Максимова, который был запрещён цензурой и, по сути, явился поводом для изгнания. Роман “Семь дней творения” я прочитал лет через двадцать, и он поразил меня глубиной и толстовской мощью. . .

Я люблю Париж, люблю его рассветы, когда над набережными Сены курится туман, мне нравится улица Пигаль со знаменитым кабаре “Мулен Руж”, где, так и кажется, увидишь за соседним столиком Тулуз-Лотрека или Мопасана; меня волнуют огни Елисейских полей, мрачноватый, наполненный призраками Лувр. Люблю я и городок художников Барбизон, где некогда трудился и страдал Ван-Гог, люблю за память о великих — нынче художников там нет. Теперь это респектабельный и скучный посёлок с дорогими виллами. И всё же ближе всего моей душе небольшой городок Сен-Женевьев-де-Буа и русское кладбище на его окраине. От кладбища исходит такая духовная мощь, что исчезает серебристый, свойственный Парижу и его предместьям цвет, его заменяет сиреневое сияние сумерек Подмосковья. Поток энергии разгоняет облака, обнажая густо-синее русское небо, какое случается на Орловщине либо над матушкой Тверью в затянувшееся бабье лето.